

УДК 94(092)(47+57)
ББК 63.3(2)635-8
Л47

Леонов, Николай Сергеевич.

Л47 Лихолетье. Последние годы СССР / Николай Леонов. — Москва : Родина, 2020. — 368 с.

ISBN 978-5-907149-05-2

Автор этой книги — человек легендарный. Николай Сергеевич Леонов — генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук, академик РАН, друг Рауля Кастро и Че Гевары, личный переводчик Фиделя Кастро во время его визита в 1963 году в СССР, многие годы руководил работой информационно-аналитического управления советской внешней разведки. Он не понаслышке знает о методах работы спецслужб СССР и США, о спецоперациях, которые проводило ЦРУ против Советского Союза.

Основываясь на своем личном опыте, Н.С. Леонов показывает, как работала существовавшая в последние годы СССР система принятия важнейших политических решений, какие трагические ошибки были допущены при вводе советских войск в Афганистан, предоставлении помощи так называемым развивающимся странам, а также в ходе проводившихся при Горбачеве переговоров о разоружении.

УДК 94(092)(47+57)
ББК 63.3(2)635-8

ISBN 978-5-907149-05-2

© Леонов Н.С., 2020
© ООО «Издательство Родина», 2020

НАЧАЛО ПУТИ

Довелось мне родиться летом 1928 года в неприметной рязанской деревушке с красивым названием Алмазово, расположенной на самом стыке трех областей: Рязанской, Тульской и Московской. Мужики вечно шутили, что у нас самые горластые петухи: их слышно сразу в трех губерниях. В 20 верстах от деревни раскинулось Куликово поле. В хорошую погоду от околицы можно было увидеть золоченый купол обелиска на Мамаевом кургане.

Вся моя жизнь точно уложилась в рамки советского времени. Первый свой крик я издал под копной сжатой ржи на собственном поле в последний год свободного крестьянствования. На следующее лето наша пашня уже была включена в колхозные поля. В отставку же я ушел после известных событий августа 1991 года, когда рухнула старая власть и началось новое летосчисление. 63 года, пробежавшие между этими датами, и являются предметом моих размышлений в этой книге. «Как раз на жизнь свобода опоздала», — сказал поэт про моих современников.

Точная дата моего рождения так и осталась неизвестной. В разгар жатвы родителям было некогда ехать в соседнее село, где был сельсовет, для регистрации новорожденного, а когда управились с урожаем и стали выправлять метрики, то, чтобы избежать штрафа за просрочку, назвали первое попавшееся число, поближе ко дню визита в сельсовет. Так и определили мне 22 августа как день рождения.

Моя мать Леонова Наталья Владимировна была обыкновенной крестьянкой. Когда я появился на свет, ей было 22 года и на ее плечах лежали заботы по поддержанию хлопотного середняцкого хозяйства. У нас были своя лошадь, корова, в хлеву всегда хрюкала пара свиней. Во дворе толпилось десятка полтора овец да кудахтали пара дюжин кур. Отец Леонов Сергей Михайлович, тоже из крестьян, исправно делал всю мужицкую работу, но с приходом колхозного строя решил поменять свою судьбу. Он уехал учиться на рабфак в Бобрик-Донской, там вступил в коммунистическую партию, а вскоре и обзавелся новой семьей. Возвращаться в деревню — к навозу, квасу, соломе — ему уже не хотелось. Он развелся с матерью, и я только пять десятков

лет спустя узнал, что он служил в армии, дошел до чина подполковника и завершил свои дни в Минске военпредом на тамошнем автомобильном заводе. Никакого влияния на мое формирование он не оказал. Но его членство в партии едва не стоило мне жизни. Он строго-настрого запретил крестить меня, а поскольку сам был единственным коммунистом в деревне, то и я оказался единственным нехристом. Никто из бабок не соглашался приглядывать за мной, когда мать работала в поле, полагая, что я навлеку беду на дом. Однажды соседка, уступившая просьбам матери, во время разыгравшейся грозы в ужасе стала пятиться от окна, споткнулась о большую кадку, в которую сливали на поило скоту остатки от обеда, квасную гущу, воду от мытья посуды и пр. Бабака выронила меня, завернутого в лохмотья, прямо в кадку и убежала из дому. Опомнилась она уже на улице, опрометью влетела назад в избу и вытащила из мутной жижи полуживого нехристя. Меня откачивали как утопленника, но сидеть со мной впредь наотрез отказались все. Я стал беспризорником.

Матери-разведенке с мальцом на руках в деревне стало жить трудно и неуютно. В 1929 году прошли устрашающие раскулачивания. В Алмазове, где на 120 дворов не было ни одного батрака и ни одного крупного хозяина, все-таки были раскулачены две семьи. Дикое разорение крестьян, отправка в ссылку ближних соседей, отчаяние и ужас баб, вывших от бессилия, окончательно убедили мать в том, что жить по старым крестьянским традициям уже не придется. Она списалась со своей теткой, давно работавшей в Москве трамвайным кондуктором, и перебралась в столицу, поступив на работу на ткацкую фабрику. Скоро она забрала меня к себе, и с 1931-го по 1934 год я проходил школу воспитания в детских садах текстильщиков. Жили мы вчетвером — бездетная тетка с мужем и я с матерью — в крошечной девятиметровой комнатухе в Третьем Павловском переулке.

Я рос не только непоседливым, шаловливым, но, может быть, и просто невоспитанным мальчишкой — как многие дети разрушенных семей. В детском саду я «внедрил» в быт регулярные футбольные игры, в которых вместо мяча использовалась чья-нибудь шапка. Когда в конце недели наши мамы приезжали, чтобы взять нас на выходной, то они бурно возмущались, увидев состояние шапок своих отпрысков. Расследование выводило карателей на меня, и наступало неотвратимое наказание.

В коммунальной квартире я как-то забил хозяйственным мылом носик чайника, принадлежавшего нелюбимым соседям, и те долго не могли сообразить, что происходит с их чаем. Я был на-

казан ремнем и посажен в темную уборную, но даже из-за двери продолжал хулить весь белый свет неизысканными словами. Пришлось матери отправить меня обратно в деревню к другой своей тетке.

В розвальнях, когда мы ехали со станции в Алмазово, я уловил обрывки разговора мужиков о том, что враги убили Кирова и что теперь «жизнь будет становиться все хуже». Незаметно мы втягивались в политику. Мужики стали шушукаться по углам, отчего даже пацанам становилось страшно. Повсюду нам стали мерещиться невидимые вредители. Мы, мальчишки, искали в рисунках отрывного настенного календаря скрытые фашистские знаки, образы разных гадких животных, видя во всем проiski «шпионов».

Но люди никак не хотели расставаться с добрыми старыми привычками и обычаями. Плесень недоверия, подозрительности едва тронула толщу крестьян. Поэтому четыре года, прожитые в деревне до 1938-го, остались в моей памяти как самые светлые и безмятежные. Я никогда не был так сознательно близок к земле и к своему народу, к его традициям. Не будь этих лет, я бы считал себя безнадежно обездоленным. Ну где теперь увидишь такие проводы старого года, когда напротив села, на другой стороне речушки, ребятня натаскивала огромную копну соломы, которую поджигали, и она озаряла на добрую версту вокруг заснеженные поля и все Алмазово. Называлось это «сжиганием старого года» со всеми его невзгодами, лихостями и неудачами. Мальцы с визгом носились вокруг кострища, парни и девушки с хохотом играли в снежки, барахтались в сугробах. Деревенский гармонист творил чудеса на своей потрепанной, но безотказной гармонике. И на все это безоглядное веселье с радостной грустью смотрели изо всех изб глаза мужиков и баб и их отцов-стариков.

Горя мы не ведали, каждая пора года приносила свои радости. Появлялись первые проталинки на Пасху, и начинали мы катать крашеные яйца. Чье дальше укатится, тот и выиграл. Или бились острыми концами пасхальных яиц. У кого скорлупа лопалась, тот проигрывал и должен был отдать святое яичко победителю. Бывало, целый вечер просидишь у лукошка, выбирая яйцо с дополнительным наростом на конце. Церковь в селе уже не работала, попа сослали неизвестно куда, а традиции теплились: всюду пекли куличи, готовили сладкую пасху.

Потом интерес мальчишек захватывал весенний смотр техники и инвентаря. Колхоз наш был не особо мощный, но и не тщедушный. Недели за две до сева на большой луговине напро-

тив домика правления колхоза выставлялось все наше нехитрое хозяйство. Рядами блестили плуги и бороны, пузатились веялки и крупорушки, на генеральском месте возвышались молотилки. Задрав оглобли в небо, замирали телеги, водяные бочки, увешанные залатанной и приведенной в порядок сбруей. Ну чем не праздник? Если бы не страсти 1937—1938 годов и не война, может быть, и сложился бы новый уклад, утвердились праздники, до которых деревня так охоча...

Пахота и сев проходили на одном дыхании. По работе мужики успевали основательно соскучиться и вкалывали на совесть. Обедали на борозде, отдыхали только из-за лошадей. Управлялись всегда в срок, не помню вздохов из-за ушедшей в лето без посева земли.

Но главное в деревне — жатва. Это всем праздникам праздник. Ничто не доставляет человеку такой радости, как вид результатов своего труда. Жатва и трудна, и празднична, как никакая другая страда в сельской жизни. Вся деревня переселялась на гумна и оставалась там до конца жатвы. В домах скрипели только старики да старухи, готовившие харчи, нянчившие малых детей да приглядывавшие за скотиной.

Мы дневали и ночевали на гумне. Рабочей силы в деревне было достаточно, нас отовсюду гоняли, чтобы мы не мешали и не попали случайно под вилы. Нас отсылали в ближайшие лощинки с родниками за водой либо поручали утаптывать солому в огромных ометах, чем мы и занимались до изнеможения, захлебываясь от восторга.

Когда же солнце садилось и машины вынужденно останавливались, вся молодежь шла на речку купаться. Речушка в нашей деревне крошечная, но ее старательно с весны запруживали, и она разливалась длинным и глубоким озерцом, в котором с гоготом и визгом плескалась шумная стая алмазовских парней и девочек. Для них это была лучшая награда за тяжелый день, за четырежды просоленные рубахи, за тысячи остей от пшеничных колосьев, которые резали и кололи до боли даже порядком задубевшую кожу рязанских хлеборобов. Сама собой появлялась гармоника, и попеременно сыпались частушки — озорные от парней и задумчиво-мечтательные от девушек. Гомонили допоздна, чуть не до зари, а с солнышком опять вилы в руки, и снова шли гулять снопы по их острым зубьям из полевых копен до зева молотилки.

К осени, когда завершалась уборка, вся деревня начинала готовиться к большому празднику конца полевых работ. Какой бы председатель ни был в то время в колхозе, он всегда выде-

лял быка, пару-тройку баранов, поросенка для организации общего стола. Женщины занимались праздничной кухонной работой. Они варили студень, чудесную требушиную колбасу, в косы заплетали промытые и сочившиеся жиром кишки, которые на огне превращались в золотистые лакомства, жарили на сале печенку вперемешку с кусками застывшей крови. Само мясо мы испокон веков пользовали только для первых блюд и никаких разносолов из него не делали, а вот из субпродуктов выходили все деликатесы, на которые бабы были мастерицы.

Пили тоже от души, но закусывали так сытно, что пьяных я не помню. Гулянье с песнями и плясками длилось два-три дня. Бывало, осенняя распутица начисто изолировала деревню от всех: ни проехать, ни пройти было по нашим раскисшим дорогам и лощинам; телефона, электричества, радио не было. Хлестали с неба серые дожди, стыла в окружавших деревню бугерах набрякшая водой земля, а на взгорке, занятом деревней, клубились веселые дымы над трубами, наяривала гармоника и переливались песни.

Хозяйство было почти натуральное. Уже поздно осенью доставали со дна реки снопы конопли, положенные туда на отмоkanie, просушивали их, потом клали в мялку, вычесывали коstrу и готовили волокно к прядению. Всю зиму неутомимые женщины пряли либо коноплю, либо шерсть. На домашних, почти первобытных станках зимними вечерами ткали они длинные серые полотна, которые по весне расстилали бесконечными дорожками на лугу под яркими лучами солнышка на отбелку. Чего только из этих холстов не делалось: и онучи к лаптям, и простыни, полотенца, и нижнее белье, штаны и рубахи для живых и саваны для усопших. Матушка-конопля с ног до головы одевала непритязательных односельчан. Теперь ее запрещено сеять: она, видите ли, содержит в своей пылице наркотики.

Из шерсти всю зиму вязали носки, варежки, но главным образом она шла на валенки. В начале декабря в деревне появлялась бригада шабашников-валяльщиков, которые снимали у кого-нибудь избу и валяли валенки для всего села, а над деревней несколько дней клубился пар и разносился тяжкий дух распаренной шерсти. Редкий хозяин не заказывал двух-трех новых пар. Для невест и молодых женщин обязательно делали белые, парадные, изящные валеночки, детям катали маломерки, а главным товаром были черно-серые рабочие валенки, которые сразу, еще не надеванные, подшивали двойной подошвой, чтобы они помогали хозяину вынести любые морозы. Мужики, у кого голова была на

плечах, все умели шить обувь, шапки и дубленые шубы и тулупы. Редко кто щеголял в суконных пальто.

Так и шла моя свободная донельзя жизнь до того момента, когда пришлось идти в школу. Первой учительницей была Валентина Матвеевна — красивая, умная и добрая, какими должны быть все учителя. Она меня встретила очень тепло, знала, что я «безотцовщина», к тому же и мамы не видел больше года. Доброты мне всю жизнь не хватало, поэтому я старался отвечать на ее проявления тем же. Учился я истово, подбадриваемый теткой и другими взрослыми.

А тем временем моя мама вышла вторично замуж за выходца из нашей же деревни, с такой же фамилией Леонов, работавшего на железной дороге около города Электросталь. Родилась моя первая сестра Тоня, и меня решили забрать из деревни в город.

Живо помню теплое утро раннего лета 1938 года, когда меня посадили в телегу и повезли на железнодорожную станцию. Инстинктивно чувствовал я, что закатилось мое детство и не видать мне больше вольной деревенской жизни. Я сидел на задке телеги и со сладкой болью прощался с Алмазовым, купавшимся в петушиных песнях, подпиравшим небо столбами своих дымов и постепенно таявшим в утреннем тумане. Я не знал тогда, что человеческая память хранит любимые образы лучше, чем цветная фотография. И до сих пор не только вижу то утро, но и слышу его, чувствую запах гречихи соседнего поля и неизбывную боль прощания с родиной, с укладом, который уже не вернется.

Последующие десять лет, до 1947 года, я прожил в новой семье. Отчим Леонов Константин Устинович оказался на редкость добрым, умным человеком, он принял меня как родного сына, и я не чувствовал никакой ущербности. Жили мы в двухэтажном дощатом строении с засыпными стенами, которое было воздвигнуто для строителей железнодорожной ветки Фрязево—Ногинск как временное жилье. Строители давно ушли, и теперь здесь поселились эксплуатационники, потому что жить было негде. Дом стоял в двух километрах от станции и города Электросталь, на работу и в школу приходилось ходить пешком. Железнодорожники были полурабочими-полукрестьянами. Жалкие зарплаты не давали возможности сводить концы с концами, поэтому все мы разбивали огороды, строили сараи, заводили скотину. Продаваемый насквозь дом-временка не имел ни водопровода, ни канализации, да и электричество провели только в годы войны. Но, несмотря на все трудности, семейство быстро прибавлялось. К 1947 году я был осчастливлен четырьмя сестрами, с которыми

до сих пор живем душа в душу. Кроме школы все мои заботы сосредоточивались на воспитании малолетних сестричек, следовавших одна за другой, на заготовке дров на зиму, сена корове и на уходе «за огородом, нашим подлинным кормильцем. В моем отчине крестьянин умер гораздо раньше, чем в других его коллегих, он с неохотой занимался огородно-коровыми делами, кротко сносил упреки матери в бесхозяйственности и полагался на меня, «второго мужа» в семье.

В нашем кругу хорошо учиться считалось непрестижным, почти позорным, мои сверстники рано бросали школу и уходили на работу на завод или в ФЗУ (фабрично-заводские училища). Я же из класса в класс переходил без больших хлопот, пока летом 1941 года не грянула война. Мы, мальцы, давно были убеждены, что «на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». Нам были еще неведомы сомнения в правдивости печатного слова, утверждавшего все время, что мы самые могучие, самые сильные в мире. Нам было непонятно, отчего ревут наши матери, почему почернели лица отцов, кутивших одну «козью ножку» за другой. Мы радовались, что враг своим нападением дал нам блестящую возможность показать нашу силу. Откуда нам было знать, что пресса создана больше для вранья, чем для информации.

1941 год стал годом первых крушений иллюзий, годом начала критического отношения ко всему происходившему.

Наших отцов-железнодорожников в армию не брали, они были переведены на казарменное положение и жили в пустовавшем помещении эвакуированной химической лаборатории местного завода, выпускавшего противогазы. В первые же дни малограмотные мужики отыскивали в брошенных незакрытыми шкафах бутылки, колбы с жидкостью, напоминавшей спирт, и, естественно, не удержались от соблазна. Спирт оказался метиловым, несколько человек умерло, а часть ослепла. Это были наши первые собственные «военные» потери.

В тяжелую октябрьскую пору, когда каждую ночь немцы сыпали на нас зажигательные бомбы и сбрасывали вороха листовок с призывами не допускать эвакуации промышленного оборудования, наш дом потрясло трагическое событие. Один из соседей, Кирилл Семкин, работавший сцепщиком вагонов на станции Электросталь, принял после работы стакан водки и начал громко заявлять, что ему не страшен приход немцев, что все равно, при какой власти «жрать дерьмо», пусть, дескать, коммунисты «кладут в штаны от страха».

Наутро его уже не было дома: забрали. Судила его «тройка». Мой отчим как секретарь парторганизации железнодорожной станции был приглашен на суд. Кирилла приговорили к расстрелу и приговор привели в исполнение в 24 часа. Его жена, 29-летняя цветущая Анастасия, осталась с четырьмя ребятишками на руках, старшему из которых, моему ближайшему другу Сашке, было 12 лет. Единственной опорой убитой горем вдове стала наша семья, вернее, мой отчим. Он долго скрывал от нее факт приведения приговора в исполнение, говорил о штрафных батальонах. Анастасия надеялась, помню, даже сажала паука в стакан, веря в народную примету, что если паук соткет в гладкостенном стакане паутину — значит, муж жив, а если нет, то уж... нет. Чтобы семью не выгнали

из крошечной комнаты в 12 квадратных метров в нашем железнодорожном доме, отчим убедил начальника станции принять убитую горем женщину на работу. Мы с приятелем Сашкой стали ходить за почасовую оплату на очистку железнодорожных путей от снега.

Закрутилась горькая рулетка войны, выдававшая кому похоронку, кому тяжелого инвалида, кому пропавшего без вести, кому арестованного своими. Как пелось в песне Высоцкого, «кому от Сталина, кому от Гитлера...»

Два года я не ходил в школу: она не работала. Отец пропадал на работе, дома его почти не было видно. Все силы и мысли сосредоточивались на том, чтобы выжить, сберечь сестренку, помочь матери, не дать своей душе расстаться с телом. Нужда заставляла меня совершать дальние поездки за хлебом в Горьковскую область, где мы меняли иголки, дешевую бижутерию на муку, пшено, крахмал. Поездки были очень опасными: на крышах вагонов, в товарных составах. Защитой от милиции и уголовников были крайняя тщедушность и мальчишеские слезы. Больше рассчитывать было не на что. Однажды пришлось ехать пару суток, закопавшись в каменный уголь в открытом полувагоне, под непрерывным дождем, но думы о голодных сестренках не давали ни уставать, ни болеть. Зато дома нас встречали со слезами на глазах, как кормильцев-спасителей. Даже отец, смущенно кашляя, одобрительно поглядывал на лоснившийся от грязи мешок с мукой и пшеном и покрикивал на мать: «Наташк, накорми хлебопашца, будет топтаться без толку!» А мать плакала без стеснения, вытирая покрасневшие глаза передником, пришептывая: «Господи, да нешто я послала бы тебя... кабы не жисть эта проклятая... Спасибо тебе, сыночек, спасибо». И трудно было понять, за что

мать благодарит меня: за то, что я привез еду, или за то, что вернулся жив и здоров и снял с нее бремя мучительного страха за жизнь единственного сына. А сам я, как большинство в моем положении, наслаждался «вниманием благодарной аудитории» и рассказывал целый день о бесконечных перипетиях поездки, не жалея красок и порядком привирая.

После пары лет такой волчьей жизни мне было нелегко привыкать снова к школе, куда я вернулся в 1943 году, когда отчим пригрозил применить все доступные меры наказания. Меня окружали чистенькие, упитанные подростки, дети по большей части инженерно-технического персонала завода «Электросталь». У меня появлялись позывы отомстить им за их грамотность, воспитанность, благообразие, но усилиями чудесного педагога Марии Семеновны Мальвиновой (мне везло на учителей!) они были подавлены, и благодаря ей вскоре мне пришлось сидеть в Большом театре и слушать вместе с классом оперу «Евгений Онегин», чувствуя, как по спине пробегает озноб от пения волшебного Ленского-Лемешева. Завелись преданные друзья из благополучных семей. **Самым** близким был Виктор Рейтблат. Его отец Лазарь Аронович Рейтблат был до войны директором той самой школы, где мы учились; с первых дней ушел на фронт политработником и там погиб, оставив жену, учительницу начальных классов той же школы, с тремя маленькими ребяташками. **Это** была дивная еврейская семья — дружная, интеллигентная и всегда бедная. В самое тяжелое время, когда мне случалось заходить к Виктору, его мать Доба Савельевна всегда находила лишнюю тарелку супа для гостя, хотя свои дети пухли от недоедания.

Виктор давал мне читать книги из библиотеки своего отца. Так я прочитал «Историю гражданской войны в СССР», «Историю колониальных и зависимых стран», «Историю германского фашизма». Под влиянием этих книг я увлекся историей и со временем стал заниматься ею профессионально. Он же привил мне любовь к изучению иностранных языков. Сам он лучше других владел немецким. Помню, как библиотекарьша клуба имени Горького в Электростали цепенела от страха и восторга, глядя, как мы копаемся в грудах неучтенных книг, оставленных в свое время немецкими специалистами, работающими на заводе. А вскоре я читал в подлиннике «Так говорил Заратустра» Ницше.

Я бесконечно благодарен судьбе за то, что она наделила меня в юности друзьями — людьми образованными, стоявшими выше меня по общему развитию. Мне всегда было с кого брать пример,

за кем тянуться. На более поздних этапах эта же судьба, к несчастью, отказала мне в этой бесценной милости.

А какие были преподаватели! Директор школы Виктор Иванович Миловидов, словесник, был мастером по внеклассной работе. Трудно сейчас поверить, что мы ставили под его руководством «Горе от ума», «Вишневый сад». Созданный им школьный хор был просто чудом. Оставшиеся участники его и по сию пору, полвека спустя, собираются и исполняют тот старый репертуар с таким же упоением и страстью. И те же запевалы — Никитина Клава и Бохан Клава.

Незабываем и математик Ирошников Николай Петрович — тощий, очкастый, умный, беспокойный, как Жак Паганель. Отдыхая от математики, увлекался литературой, философией, без конца изобретал каверзные вопросы, на которые мы всем гамузом безуспешно пытались ответить.

1947-й, год окончания школы, выдался для нашей семьи особо тяжелым. Мать ждала рождения четвертой сестры Жени и еле двигалась по дому. Рано кончились запасы своей картошки, от коровы пришлось отказаться из-за нехватки кормов, жили только тем, что получали по карточкам. Я готовился к экзаменам на аттестат зрелости и не мог уезжать надолго из дома. Помогал семье, лишь распиливая сухие слепи из ограды огорода и продавая аккуратные вязаночки сухих дров на базаре за кусок хлеба, фунт отрубей или плитку хлопкового жмыха. До слез тронули меня учителя из школы: они тайком собрали в складчину деньги и купили мне абонемент в школьную столовую с правом получения хотя и жидкого, но горячего обеда. Там питались только дети работников «Электростали», но для меня сделали исключение.

Окончив школу с золотой медалью, я шатался от счастья и истощения. «Ура! — орали мы. — Все позади!» — не ведая, что все было впереди. Ради правды надо сказать, что таких материальных трудностей и лишений, как в те годы, мне, к счастью, больше испытать не довелось.

Жизненная дорога круто пошла на подъем. Решение продолжить учебу в вузе было естественным, другие пути даже не рассматривались. Мое сердце больше всего склонялось к карьере юриста. Я не мог еще сказать, хотел ли я стать прокурором — обвинителем зла или адвокатом — защитником невинно страдающих, но мне хотелось быть причастным к судьбе и боли конкретных людей. Выбор помогли сделать два человека: мой друг Виктор Рейтблат и постовой милиционер на трамвайной остановке

в начале Павловской улицы. Первый поколебал мои планы, предложив податься в Институт международных отношений, а второй забил окончательный гвоздь, сказав, что ехать к Московскому государственному институту международных отношений значительно ближе и проще, чем к Московскому государственному университету. В кармане у меня в этот момент лежали два заявления в оба эти учебные заведения.

В те годы еще не свирепствовала эпидемия блата. В МГИМО приняли документы провинциального медалиста без задержек. Экзамен по немецкому я сдал играючи и, выбрав для специализации испанский язык под впечатлением республиканской эпопеи 1936—1939 годов, был зачислен студентом. Выбор был сделан.

Институтские годы в целом остались в моей памяти как тяжелое и неприятное время в моей жизни. Я до сих пор вспоминаю институт с отвращением и никогда не возвращался в его старое здание у Крымского моста. Гнетущее впечатление, что это не храм науки, а карьерный трамплин, овладевало многими, кто попадал в его коридоры и залы. Студенты были трех мастей. Одни, так называемые «зеленошляпники», принадлежали к партийно-государственной элите. В нее входили настоящие «элитники» вроде дочерей Молотова, Косыгина, маршала Жукова, сыновей министров. К ним примыкали представители средней и мелкой служилой интеллигенции. Это была наиболее образованная часть студенчества, из которой впоследствии вышли многие видные дипломаты, ученые, журналисты. Но среди них было немало людей, смолоду зараженных вирусом карьеризма. Особенно неприятными и даже опасными оказывались те, чьи жизненные расчеты явно не обеспечивались способностями и знаниями. Такие молодцы компенсировали свои недостатки повышенной активностью на поприще «общественной работы». Их, конечно, было меньшинство, но своей назойливой крикливостью они искажали лицо тогдашнего мгимовского студенчества и отравляли общую атмосферу жизни.

Второй по влиятельности, но очень тонкий слой составляли бывшие фронтовики. В 1947 году из армии приходили все новые группы демобилизованных, и часть их на льготных условиях поступала в институт. По возрасту они были всего на четыре-шесть лет старше, но по опыту жизни, самостоятельности возвышались над нами, как Эверест. Часть из них не выдержала академических трудностей, но большинство выстояло. Я их глубоко уважал, звал всех «стариками», и среди них остались все лучшие друзья того времени.

Многочисленной, но затюканной, презираемой массой были выходцы из простолюдинов, особенно из провинции. Без влиятельных родителей, без опыта жизни они были тихими зубрилами, которые вели нескончаемую борьбу за выживание. Мне выпала «честь» принадлежать к этому непочетному легиону. Шанс как-то заставить уважать себя крылся только в отличных успехах. Мы не могли позволить себе, как Уинстон Черчилль в молодости, учить только то, что нравилось.

Нашими учителями были самые разные люди. Среди них попадались великолепные профессора: историк Е.В. Тарле, географ Н.Н. Баранский, юрист-международник В.Н. Дурденевский, специалист по древнему миру А.А. Бокшанин, философ П.С. Попов, читавший логику, востоковед Г.Б. Эренбург (однофамилец писателя Ильи Эренбурга). Но полным-полно было серых, случайных преподавателей вроде специалиста по марксизму некоего Лихолата, или отставного дипломата, читавшего курс международных отношений, или академика Иванова и др.

Учебный курс в основном был неплохо спланирован и предусматривал добротное, широкое образование. Тут были и классическая философия, история отечественная и зарубежная, право, литература, политэкономия, экономгеография и т. д. Но сама учеба временами приобретала уродливый характер, превращаясь в начетничество и зубрежку. Я до сих пор помню, что единственную четверку за все время обучения в институте получил за незнание деталей биографии Сталина по курсу отечественной истории. Четверка не огорчила сама по себе, но она означала, что я потеряю 25% прибавки к стипендии как отличник. Я напросился на пересдачу, три дня как чумной учил жизнеописание вождя и учителя и все-таки провалился опять на каких-то деталях, связанных то ли с его бегством, то ли с законным освобождением из ссылки. По тем временам это было чем-то вроде клейма на лбу. Изучение марксизма не касалось творческой сути как философского учения, а состояло в зазубривании. Скажем, надо было знать семь определений диктатуры пролетариата (по разным работам). Мыслить не учили, иначе мыслить не разрешалось вообще, и всякий отход от линии грозил анафемой и оргвыводами. Огромное количество времени терялось на бесконечное конспектирование бесчисленных трудов классиков.

Чем дальше от политических дисциплин, тем свободнее не только говорили, но и поступали наши профессора. Помню, как один экзаменатор спросил нашего фронтовика, не ответившего по билету по западноевропейской литературе: «Скажите, вы

читали «Песнь о Роланде?» — «Нет». — «Не приходилось ли листать рассказы Чосера?» — «Нет». — «Знаете ли вы, что такое «Ад» Данте?» Опять последовало сакраментальное «нет». Профессор вздохнул, поставил «четверку» в зачетную книжку и сказал: «Завидую вам, молодой человек: вам предстоит в жизни большое счастье открыть для себя столько прекрасного!»

Внеаудиторная общественная жизнь студентов была отравлена премерзостным духом гниющей сталинской диктатуры. Непомерный груз культа Сталина, казалось, сломал хребет нации. Одна за другой кампании морального террора захлестывали наши вузы. Сначала возникло какое-то дело о «моральном разложении» студентов Ленинградского университета. Всякий, кто подозревался в поддержании внебрачных связей, принуждался к немедленной женитьбе или подвергался риску исключения из института по подозрению в неблагонадежности. Глумление над людьми творилось страшное. Достаточно было написать заявление в партком, и «виновного» беднягу немедленно волокли на позорную дыбу — комсомольское собрание. Там его в самой унижительной форме спрашивали обо всем, клеймили и требовали безоговорочной капитуляции. Я не помню случая, чтобы кто-то осмелился защитить себя, он был бы смят и растерзан инквизиторской машиной.

Но самой страшной была кампания борьбы с космополитами. На наших глазах густо мазали дегтем и вываливали в перьях многих любимых преподавателей и профессоров, которых потом высылали в далекую провинцию. Мало того, что моральные казни совершались для устрашения, открыто, при всех, нас заставляли принимать в них активное участие. Обязательно среди выступавших экзекуторов должен был быть представитель «рядового студенчества», и загодя начинались поиски такого хунвэйбина. Чаще всего им становился особо алчущий хорошего распределения «борец за чистоту марксистско-ленинских идей» из числа натужных активистов. Эти люди, как правило, все хорошо устроились после окончания института, а еще через несколько десятилетий из них же вышли самые крикливые «демократы». Нормой их поведения всегда оставался беспринципный оппортунизм.

Время от времени накатывались истеричные волны изучения сталинских «трудов», причем чем ничтожнее был «труд», тем свирепее доказывалось его величие и беспощаднее требовалось его изучение в виде зазубривания. Особенно досталось нам с «Марксизмом и языкознанием», написанным маразма-тиро-

вавшим вождем под влиянием гостившего у него на даче летом профессора языкознания из Грузии. Пришлось все без исключения предметы сдавать под углом зрения «идей», изложенных в тощей брошюре.

В отлично задуманном институте, к тому же поселившемся под крышей старого лицейского здания, вход в которое стерегли скульптуры Сократа и Платона, глубоко засел дух карьеризма, тщеславия, шкурничества. Казалось, что здесь собрались не беззаботные студенты в самую красивую пору своей жизни, а маленькие чиновники, которые рано повели борьбу за будущие теплые места, стали искать знакомств и связей, выгодных женитьб и замужеств, рвались очертя голову в партию, куда доступ строго дозировался, стремились к общественной работе лишь потому, что она давала дополнительный шанс попасть на глаза администрации и партийным боссам. Для подавляющего большинства студентов-разночинцев это было неприемлемо и вызывало отвращение.

Я часто задавал сам себе вопрос, как я относился к советской власти, к правительству за все годы жизни. И отвечал: «Рассудительно, критически, без идеологической зашоренности!» Все мое уважение к компартии и ко всем властным структурам проистекало из того, что они олицетворяли в моих глазах государство, Родину. Точно так же, как в давние времена патриот отечества мог на протяжении своей жизни служить трем-четырем различным государям, различавшимся своими характерами, государственными взглядами. Сам институт самодержавной монархии осуждался большей частью русской прогрессивной общественности, но к топору звали Русь лишь единицы. Большинство честно служили своему народу в условиях достаточно деспотичной царской власти. У меня были и свои особые обиды на советскую власть, обиды, полученные незаслуженно. Боль от них и сейчас саднит сердце.

Зимой 1952 года мы, студенты последнего курса МГИМО, сдавали экзаменационную сессию. Это была последняя сессия. Все уже получили предварительное распределение. Мне, в частности, досталось направление в МИД, куда я сдал соответствующие анкеты. Направление завидное, но ведь я все годы был отличником и к тому же довольно активным комсоргом академической группы.

К экзаменам мы в те времена готовились группами: так было проще и эффективнее. Одна из групп в составе пяти моих товарищей занималась, за отсутствием домашних условий, в здании